

СОНЯ ВЕСТЕРХОЛЬТ

В сотрудничестве с Бриттой Сёренсен



СОБАКА ЗДОРОВА

Рассказы о моей жизни
в Советском Союзе

СОДЕРЖИТ

НЕЦЕНЗУРНУЮ

БРАНЬ

ИЗДАНО В ШВЕЙЦАРИИ

18+

Соня Вестерхолт

**Собака здорова. Рассказы о
моей жизни в Советском Союзе**

«Автор»

2017

Вестерхолт С.

Собака здорова. Рассказы о моей жизни в Советском Союзе /
С. Вестерхолт — «Автор», 2017

«Собака здорова. Рассказы о моей жизни в Советском Союзе» — книга воспоминаний Сони Вестерхолт о жизни в СССР, полной смеха и слез. Соня растет в Ленинграде (нынешнем Санкт-Петербурге) и еще в ранней молодости привлекает к себе внимание власть имущих как человек, критически относящийся к тоталитарной идеологии. Это смешная и грустная история о любви, слежке и абсурдности жизни в тоталитарном обществе. Содержит нецензурную брань.

© Вестерхолт С., 2017

© Автор, 2017

Содержание

Как закалялась сталь	6
Кошкин день	12
Собака здорова	20
Лолита Торрес	22
Задристанный Диван на крыльях истории	33
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Соня Вестерхолт
Собака здорова. Рассказы о
моей жизни в Советском Союзе

Посвящается Анне

Как закалялась сталь

В космическом корабле живет мерзкое, скользкое и смертельно опасное существо. Оно по очереди нападает на членов экипажа и убивает их одного за другим. Существо никогда не показывается в кадре целиком, но ужас, испытываемый зрителем, от этого становится только сильнее. Я, по крайней мере, в жизни не видела фильма страшнее, чем «Чужой». Только в самом конце, когда единственная уцелевшая женщина-космонавт в одиночку побеждает чудовище, мы на мгновение видим, как оно исчезает в глубинах вселенной под звуки торжественной музыки. И в этот момент существо кажется вдруг совершенно не страшным и даже смешным. Чуть-чуть похожим на морского конька. Я прекрасно понимаю, почему режиссер решил показывать чудовище лишь мельком: чтобы каждый зритель проецировал на него собственные страхи. Не секрет, что никакие спецэффекты не могут оказаться сильнее человеческого воображения. Невозможно изобразить тот бесконечный ужас, который охватывает нас при мысли о чем-то гадком, невидимом и покрытом слизью. Что-то подобное я испытывала по отношению к КГБ, которое пыталось меня завербовать, когда я вышла замуж за датчанина и ждала разрешения на выезд в Данию.

КГБ, Комитет государственной безопасности, скользкое мерзкое чудовище, которое жило своей жизнью в недрах советской действительности – да что там жило, продолжает жить и по сей день, просто под другим именем.

После долгих лет жизни в Дании я приехала в гости в Советский Союз, в пору перестройки и гласности. И не одна, а с дочкой, пятнадцатилетней Аней, которая родилась и выросла в Копенгагене. Наутро после нашего приезда в номере зазвонил телефон. Мужской голос попросил позвать Софию Лазаревну.

В России при официальном обращении к человеку используется два имени: его собственное и имя его отца. Возьмем для примера меня. У меня в паспорте в графе «Имя» написано «София». Друзья зовут меня Соня, или Софа, или Сонечка. Все это – одно и то же имя. Моего отца звали Лазарь. Поэтому, пока я жила в Советском Союзе, у меня в паспорте было написано: София Лазаревна.

Пример 1: Иван Владимирович Иванов – сын Владимира. Их фамилия – Ивановы. Друзья скорее всего называют сына Ваней (помните «Дядю Ваню»?) или Ванечкой.

Пример 2: Мария Александровна Иванова – дочь Александра. Ее фамилия – Иванова. Друзья зовут ее Машей, Машенькой и т. д.

Вот почему Россия непобедима: здесь слишком много людей, и у каждого из них как минимум по три имени. Никому, кроме русских, в этом с ходу не разобраться.

В мире есть только одна инстанция, которая называла меня Софией Лазаревной, и это – КГБ. Голос в трубке сказал, что звонит снизу, со стойки администратора, и попросил срочно подойти, потому что возникли какие-то проблемы с моим паспортом, который я накануне сдала на регистрацию. Меня охватил ужас. Это были «они». Я растолкала спящую Аню и наспех объяснила, что мы сейчас же должны спуститься на первый этаж. Если что-то пойдет не так, я дам ей знак, и тогда пусть выходит на улицу, берет такси, едет к моим друзьям и ждет меня там. Бедная моя девочка, зачем я вообще сюда ее за собой потащила? До этого я приво-

зила ее в СССР только однажды, когда ей едва исполнился годик. Теперь ей было пятнадцать, но она по-прежнему знать не знала ни о каких чудовищах. Сонная Аня просто-напросто не поняла, о чем я говорю, но послушно поплелась за мной. В вестибюле нас с ней встретили и отвели в какое-то помещение, где уже сидели двое мужчин. Давно же мне не приходилось оказываться за одним столом с кагэбэшниками – если точнее, с середины 70-х годов, когда я бог знает в который раз отказалась с ними сотрудничать. Потом меня четырнадцать лет не пускали в СССР. И вот сейчас на дворе стоял 1989 год. До распада Советского Союза оставалось еще два года.

Мужчины ни словом не обмолвились про мой паспорт. Они как будто продолжили с того же места, на котором остановились тогда в 70-х, и принялись выпрашивать у меня про моих датских друзей и коллег. Я рассвирепела. С чего они взяли, что я захочу с ними разговаривать, после того, как я столько раз отказывалась это делать, после того, как они столько лет не пускали меня в СССР? Мне даже не разрешили приехать на похороны отца! Все это я прокричала им в лицо. На что один из мужчин с упреком сказал другому:

– Ну пожалуйста, убедился теперь, что это все зря? Она же не любит свою родину!

Я вскочила на ноги.

– Вы правда считаете, что вы – моя Родина? – прошипела я и решительно направилась к выходу. Аня шла за мной по пятам.

– Что это было? – изумленно спросила она.

И вот, стоя в полумраке коридора советской гостиницы, я принялась объяснять своей дочери-датчанке, что представляет из себя это мерзкое чудовище – Комитет государственной безопасности.

– Шпионы! – воскликнула Аня. Я истерически захохотала.

Морду этой твари я видела тогда в последний раз. Началась же вся эта история еще 1970 году, одним ранним утром. Я только что вышла замуж за датчанина Оле Вестерхольта. Чем могут быть заняты молодожены рано утром, если не спят? Да-да, именно тем, о чем вы подумали. И вот, пока мы занимались любовью, резко зазвонил телефон. Я протянула руку и сняла трубку, надеясь, что разговор будет короткий. «София Лазаревна?» – спросил мужской голос. Он сообщил, что звонит из общежития, в котором должен был быть сейчас мой муж, потому что иностранным студентам запрещалось останавливаться в частных квартирах. Но на десятый день знакомства Оле переехал из общежития ко мне, и жил у меня уже девять месяцев. Голос в трубке сказал, что раз Оле не пользуется положенным ему местом, необходимо прояснить некоторые моменты, поэтому пусть он немедленно приедет в общежитие. Я положила трубку и повернулась к мужу.

– Это они, – сказала я, чувствуя, как чудовище дышит мне в затылок. – Поехали вместе.

Мы примчались в общежитие, в котором никто понятия не имел ни о каком телефонном звонке. Оле решил, раз уж мы там, заглянуть в гости к однокурснику, а я осталась ждать его внизу. Как только он взбежал по лестнице и исчез из виду, в вестибюль зашли двое мужчин, решительно направившись ко мне и один из них сказал: «Следуйте за нами». Они не потрудились ни представиться, ни объяснить, куда именно нужно следовать, да в этом и не было никакой нужды. Все советские граждане и так прекрасно знали, кто они и откуда. Они усадили меня в машину, которая ждала на улице, завели мотор, завернули за угол и остановились. В то время в Советском Союзе проживало очень мало иностранцев, все они были наперечет, так что мы с Оле прекрасно знали, что за нами следят и наш телефон прослушивается. Тем не менее, видеть морду чудовища в открытую мне раньше не доводилось, это было впервые.

Что происходит в душе человека, когда он сталкивается с беспредельным ужасом? В сознании всех советских людей КГБ было самой грозной и всемогущей силой на свете. Каждую секунду чудовище наблюдало за тобой исподтишка. Что же они сейчас со мной сделают? Сожрут? Застрелят? Будут пытаться?

Но нет, ничего такого они не сделали. Они, чуть ли не извиняясь, принялись объяснять, что просто хотят со мной поговорить. Для этого они и попытались выманить Оле в общежитие, рассчитывая, что я останусь дома, и тогда нашему разговору никто не помешает. Но мы приехали сюда вдвоем, и тем самым спутали им все карты. Теперь они приказали мне вернуться к мужу и сказать ему, что я встретила подругу, которой нужна моя помощь. Пусть возвращается домой один. Оле не должен был узнать, что я попала в лапы КГБ. Я вышла из машины, завернула за угол и вернулась в общежитие, где муж меня уже искал. Я нарочито громко объявила ему, что встретила подругу, с которой мне нужно поговорить, после чего беззвучно проартикулировала буквы К ... Г ... Б – ведь я понятия не имела, как далеко чудовище зашло в искусстве прослушки. Вдруг на меня уже прицепили какой-нибудь жучок, которого я не заметила! Оле безошибочно прочел аббревиатуру по моим губам и побледнел. Я снова вышла на улицу, завернула за угол и села в машину, которая тут же тронулась с места.

В нашей тихой и спокойной скандинавской части мира, где я теперь живу, к счастью, очень мало людей, которым довелось познать на собственном опыте, как они повели бы себя в экстремальных ситуациях – но ведь правильно говорят, что человек не знает себя, пока не окажется перед лицом серьезной угрозы. Человек не знает себя, пока жизнь не поставит его перед выбором: стать предателем? Стукачом? А то и кем-то похуже? Именно такой выбор предполагала встреча с КГБ.

Машина везла меня по волшебному весеннему Ленинграду, через два моста, мимо розовых дворцов. Город был полон жизни. Полон народа. И я подумала... впрочем, нет, я не стану утверждать, что помню, о чем я тогда думала. Зато я уверена, что точно знала, кто я. В таком репрессивном обществе, как тогдашнее советское, ничего не стоило всех нас запугать и сломить. Мы жили в каком-то болоте, топкую суть которого составляли тысячи человеческих тел, которые со временем превращались в ничто. И лишь немногие сильные, смелые, не похожие на других, а иногда и просто случайные люди образовывали хрупкую корочку на поверхности. Говорят, что Питер стоит на костях. В начале XVIII века царь Петр I решил построить новую столицу. Он собирался модернизировать Россию и прорубить окно на Запад. На эту гигантскую стройку были брошены сотни тысяч крестьян со всей страны, и они гибли, как мухи, превращаясь в строительный материал. Двести лет спустя снова пришло время больших перемен. 1917 год стал поистине эпохальным. Революция герметично закрыла прорубленное было на Запад окно и заложила начало Советского Союза. Снова на костях, конечно. И почему все новое в России всегда строилось на костях? Именно та организация, которая потом стала называться КГБ, занималась уничтожением людей, превращением их в ничто. И вот это-то покрытое слизью чудовище тащило меня теперь в своем мерзком брюхе через весь город. Но нет, так просто ему меня не переварить, у меня уже есть кое-какой опыт. Ведь мне было всего одиннадцать лет, когда жизнь впервые устроила мне очную ставку с самой собой и поставила перед необходимостью сделать выбор.

На старой классной фотографии я сижу рядом с седоволосой дамой с белым кружевным воротничком и ямочками на щеках. Это наша учительница. Породистая, с гладко зачесанными в узел волосами. Моя первая учительница, которая вела у нас всю начальную школу, с первого по четвертый класс. Казалось бы, у кого из нас нет нежных чувств по отношению к первой учительнице? Но, к сожалению, единственное, что я помню об этой женщине – это как она сделала меня предательницей. Предательницей? В начальной школе? Звучит так, как будто я после уроков передала на Запад секрет создания ядерной бомбы – но я не разбрасываюсь громкими словами. Дело в том, что мы все росли на книгах и фильмах о гражданской и Великой Отечественной войнах, на рассказах о героических партизанах, которые даже под нечеловеческими пытками не выдавали тайн врагу. Нас воспитывали в представлении, что рано или поздно мы должны будем пожертвовать собой ради родины. Во имя родины мы обязаны были доносить и предавать. Советский Союз был превыше всего. Если кто-то из твоих друзей

совершал проступок, ты считался плохим товарищем, если не помогал ему исправиться. Ты считался плохим товарищем, если не доносил на друга.

Каждый день нам напоминали о патриотическом долге. В нашем классе висела картина: мальчик в белой рубашке и пионерском галстуке стоит, гордо раскинув руки, перед тремя мрачными мужчинами. Мальчик этот был нашим героем, нашим святым, образцом для подражания. Звали его, конечно, Павлик Морозов. После революции в разоренной стране, больше не способной прокормить себя из-за полностью разрушенного сельского хозяйства, наступил голод. Были сформированы специальные отряды, которые изымали зерно у крестьян и поставляли его в города. Отец Павлика скрыл от них мешок зерна, чтобы прокормить семью, но верный своим идеалам юный пионер Павлик донес на отца. Так нам рассказывали, по крайней мере. Потому что наряду с официальной версией существовало множество слухов, по-разному описывающих проступок отца:

- Он спрятал хлеб, чтобы накормить семью.
- Он помогал людям, которых преследовало государство.
- Он был алкоголиком и бил жену и детей.
- Он бросил мать Павлика ради другой женщины.

По большому счету, нет никакой разницы, в чем именно отец провинился, главным в этой истории был донос Павлика. Прежде всего ты – пионер, а потом уже – сын. Твой долг перед родиной важнее твоих обязательств перед родными. Все советские дети знали историю про Павлика, и картина в классе напоминала нам о ней каждый день. Зерно изымали, отец был приговорен к ссылке и позже расстрелян. После этого дед и двоюродный брат Павлика зарезали и самого мальчика, и его младшего брата – тот, бедный, как раз гулял с Павликом в лесу, когда их подстерегли убийцы. Всех оставшихся в живых членов семьи впоследствии уничтожило государство. Все эти убийства висели на стене в нашем классе.

Но вернемся к моему собственному пути на Голгофу. Всем знакома классическая ситуация, когда на уроке по рукам под партами кочует записка – и вдруг попадает прямым ходом к учительнице. Именно с этого все и началось. Я училась тогда в четвертом классе, нашу женскую школу превратили в смешанную всего годом раньше. Мальчики стали нашими одноклассниками, но нас, девочек, по-прежнему воспитывали в духе викторианской морали: нам внушали, что общаться с мальчиками можно только на уроках, все остальное – стыдно.

И вот как-то раз один из наших одноклассников послал моей подруге записку – ту самую записку, которая непонятно как угодила в руки учительнице и которой та размахивала теперь перед классом. И конечно, она прицельно выбрала именно меня, верную подругу, и после уроков вышла вместе со мной на улицу и завела меня в небольшой скверик напротив школы. Я никогда прежде не оставалась с ней наедине, и вся эта ситуация казалась мне очень странной. Чего она от меня хочет? Почему мы не могли поговорить в школе? Учительница подвела меня к заливной солнцем скамейке и сама уселась рядом. Оказалось, что теперь наступил момент, когда мне предстояло выполнить свой долг и тем самым доказать, что я – полноправный член общества. Другими словами, стать доносчиком. Но я помнила обо всех стойких и непоколебимых партизанах и отказалась назвать имя того, кто послал записку. Тогда учительница прочла мне лекцию о борьбе с враждебными элементами в классе, в обществе, в жизни в целом, во всей стране. Да, на мои плечи взвалилась вдруг ни много ни мало судьба всей страны. Учительница взывала к моей совести и чувству долга. Это тоже не помогало. Прямо на моих глазах эта красивая породистая женщина превращалась в то самое скользкое чудовище, которое всю последующую жизнь я буду узнавать моментально, где и когда оно бы мне ни повстречалось. Но у меня было слабое место: мама, которая уже тогда тяжело болела. Учительнице это было прекрасно известно, и она пригрозила, что, если я не назову имени зачинщика, она отправится

прямоком к нам домой и все расскажет маме. Пусть мама знает, что я – злостный вредитель. Для мамы это наверняка станет тяжелым ударом – не исключено, что это даже ее убьет. И как многие другие партизаны, которые, глазом не моргнув, терпели боль от ужасных пыток, но раскалывались, стоило пригрозить пытками их семье, тут я тоже не выдержала. Я назвала имя мальчика.

Чудовище сразу же превратилось обратно в милую пожилую даму. Она похвалила меня, встала со скамейки и ушла. Я же, ревя в голос, вся в слезах и соплях, бросилась к мальчику домой, чтобы его предупредить. Дома его не оказалось, так что я принялась бродить по улицам в надежде его встретить, и в конце концов нашла – он как раз собирался играть в футбол с другими мальчишками. Я призналась ему в своем преступлении, и он принял мое слезное раскаяние с царственным спокойствием. Ему было на все это плевать с высокой колокольни.

Зато я с тех пор прекрасно знаю, какую боль испытывает предатель.

Тук-тук. Стук-стук, кто там? Чтобы структура, подобная КГБ, могла выжить, нужно было воспитать миллионы покорных граждан. Все мы должны были стать стукачами, доносчиками, которые стучатся в дверь КГБ. На протяжении трех поколений слово «стукач» было одним из главных в русском языке. Стукач – такой же человек, как любой другой, с двумя ушами и двумя ногами, но что у него внутри – это оставалось тайной. Как можно было превратить человека в стукача? По-разному: кто-то становился доносчиком по своей воле, в надежде получить за это какие-то блага, кого-то заставляли силой или угрозами. Так или иначе, все советское общество было охвачено стукачеством. *Стук-стук*.

Тут напрашивается вопрос: почему люди так боялись рассказывать другим о своем контакте с КГБ? Почему так боялись выдать, что КГБ пыталось заставить их что-то, о ком-то, о чем-то рассказать? Подумать только, как сложилась бы история, если бы на улицах и рабочих местах открыто заявляли: «Кстати, меня тут пытались завербовать в КГБ, но я не хочу иметь с ними ничего общего». Почему же люди так боялись говорить об этом вслух? Все очень просто: потому что если те, кто соглашался сотрудничать с КГБ, «всего лишь» оказывались выпачканными слизью, то те, кто отказывался, рисковали испортить себе всю последующую жизнь. Власть имущие управляли государством при помощи КГБ, так что КГБ знало о каждом из нас абсолютно все. И, конечно, при желании к любому человеку можно было отыскать подход. Студенты, скажем, в случае отказа от сотрудничества рисковали быть исключенными из университета. Рабочие и служащие могли поплатиться карьерой. Тем несговорчивым смельчакам, которые готовы были пожертвовать всей своей жизнью, лишь бы не потерять чести, всегда можно было пригрозить расправой над их близкими. Мне повезло еще в детстве прочувствовать на собственной шкуре, какие мучения испытывает стукач. Это стало моей прививкой на всю оставшуюся жизнь.

Несколько раз за время существования Советского Союза чудовище становилось видимым, выходило из тени и даже получало пару тумачков. В 1956 году, спустя три года после смерти Сталина, на съезде партии впервые заговорили вслух о кровавых жертвах чудовища, о лагерях ГУЛАГа, о миллионах убитых. Вина за сорок лет террора и убийств была возложена тогда на одного человека – Сталина. Очень удобно: он к тому времени все равно уже умер, а система оставалась непогрешимой. Из общественного пространства убрали памятники Сталину и его портреты. Многие осужденные вернулись из лагерей. Многие были реабилитированы, признаны невиновными – часто посмертно.

Я росла в период оттепели, когда о преступлениях прошедших лет заговорили открыто. Мне, как и моим одноклассникам, было в то время двенадцать лет. Тот самый возраст, когда дети начинают задаваться глобальными вопросами. И снова мне повезло, я выросла в то время, когда становилось очевидным, что ничто в этом мире не вечно, что все может измениться в любой момент. Сегодня ты проходишь мимо памятника Сталину, а завтра обнаружишь, что он исчез. Сегодня в классе висит картина, на которой рядом с Лениным изображен

Сталин, а завтра рядом с Лениным красуется пустое пятно. Памятники и портреты убирали по ночам. Я видела это своими глазами: однажды рано утром у памятника Сталину на площади перед Балтийским вокзалом появился подъемный кран. Я ночевала у тети, маминой сестры, и, чтобы успеть утром в школу, встала ни свет ни заря. На улицах не было еще ни души. Я стояла на площади перед вокзалом, поджидая автобус, который отвез бы меня на другой конец города, и оказалась единственной невольной свидетельницей того, как кран подцепил памятник Сталину за шею и снял его с постамента.

Что было потом? Потом, конечно, нужно было что-то посулить растерянным и сбитым с толку советским гражданами, как-то уверить их в том, что через двадцать лет наступит коммунизм. Иначе ради чего они терпели весь этот голод и террор? Раньше коммунизм казался чем-то абстрактным, чем-то, что наступит где-нибудь и когда-нибудь в будущем, обещанием рая на земле. Теперь ему определили конкретный срок.

Коммунизм заменил собой религию, у него был даже собственный новый завет и собственные святыне. Новым коммунистическим заветом стала книга Николая Островского «Как закалялась сталь», один абзац из которой все школьники должны были выучить наизусть:

«Самое дорогое у человека – это жизнь. Она даётся ему один раз, и прожить её надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жёг позор за подленькое и мелочное прошлое, чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире – борьбе за освобождение человечества».

Начинать менять мир нужно с малого, так что я решила начать с себя. И вот, много лет спустя, в 1970 году, я замужем за иностранцем и жду разрешения на выезд из СССР. Этого разрешения мне не видать, как своих ушей, если я не дам им за него что-то взамен. Услуга за услугу. Прошли годы, но чудовище по-прежнему было живее всех живых. Его существование, в отличие, скажем, от существования лох-несского чудовища, никто под сомнение не ставил. Да, это чудовище можно было уязвить, и за то недолгое время, пока оно было ослабленным и зализывало раны, я успела стать взрослой и сильной. Но вот оно снова принялось бить хвостом.

- Какое здание самое высокое в Ленинграде?
- Здание КГБ. Из его подвалов видна Сибирь.

Мне не терпелось узнать, повезут ли они меня в главное здание КГБ, но мы поехали по Невскому проспекту, мимо Московского вокзала. У чудовища были тайные помещения по всему Ленинграду, так что в итоге меня привезли к совсем другому зданию. Табличка на нем гласила, что здесь располагается районный комитет КПСС. Ну конечно! Чудовище таится за партийным фасадом. Меня провели мимо дежурного, потом по длинному коридору, который кончался, как мне сначала показалось, тупиком – но на самом деле в стене оказалась невидимая дверь. Через нее меня ввели в логово чудовища, самое обыкновенное служебное помещение.

– Присаживайтесь, пожалуйста, – сказал один из кагэбэшников и прибавил: – Если я не ошибаюсь, ваша мать тяжело больна?

Кошкин день

Моя мама однажды съела кошку, и я всю жизнь пыталась представить, как эту кошку убивали. Воображение мое особенно часто возвращается к одному образу: мертвая кошка лежит на колоде животом кверху, раскинув в стороны застывшие лапы. Над ней склоняется закутанная в платки женщина с топором.

Произошло это во время Великой Отечественной войны. С тех пор прошли десятки лет, мир видел много других несчастий и войн, но главной нашей личной трагедией навсегда осталась блокада Ленинграда. Два с половиной года город был окружен немецкими войсками, так что ни въехать, ни выехать из него было невозможно. В течение девяти сот дней блокады смерть подстерегала ленинградцев на каждом шагу. Говорят, что два миллиона человек умерли тогда от голода. Точной цифры никто не знает. Мама выжила.

У мамы была близкая подруга, а у подруги – брат. Все трое всю блокаду провели в Ленинграде. Стояла страшная зима 1942 года. Город был заморожен и практически выморен голодом. Ничего не работало, в домах не было воды и электричества, не ходил транспорт. Люди черпали воду из Невы, но далеко не у всех оставались силы донести ее до дома, так что многие просто падали по дороге и замерзали насмерть. Да и те, кому повезло добраться домой, вполне могли вечером уснуть и никогда больше не проснуться. Люди умирали и на работе. Поначалу их еще хоронили в гробах, но по мере того, как умерших становилось все больше, стали просто заворачивать в простыню или одеяло, а потом и вовсе хоронили в чем есть. Земля на кладбище, на которое свозили блокадных мертвецов, промерзла до того, что ее приходилось взрывать динамитом. Ямы разрывали и расширяли до двадцати пяти метров в длину, трех в ширину и двух с половиной в глубину. Получались общие могилы, в которые беспорядочно сваливали тела. Работник кладбища обходил могилы, спускался вниз и утрамбовывал безжизненные конечности, чтобы высвободить место для новых трупов. В конце концов горожане обессилели настолько, что не могли больше волочить своих мертвецов на кладбище, и бросали их прямо посреди улицы, в надежде, что кто-то другой дотащит их до общей могилы. И вот, 15 февраля – а именно в январе и феврале 1942 года смертность достигла абсолютного пика – брат маминой подруги поймал где-то кошку, и вместо того, чтобы сожрать ее в одиночку, пригласил свою сестру и ее лучшую подругу на пир. Одна пришла с каплей касторки, вторая – с тремя высохшими луковыми пластинками, у третьего была кошка. Все трое выжили, их имена не пополнили список из 199 187 человек, умерших в Ленинграде в течение января и февраля 1942 года. Они пережили все девять сот голодных дней, и всю последующую жизнь каждый год отмечали Кошкин день. Они были настоящие друзья.

15 февраля 1957 года мне было двенадцать лет. Звали меня тогда Софа Дриссен. Позже, когда я уже переехала в Копенгаген, я узнала, что по-датски «софа» – это диван. Диван Дриссен. Ну, а с учетом того, что фамилия Дриссен очень похожа на слово «дристать», сложно было удержаться от соблазна и не довести до конца цепочку ассоциаций. Задристанный Диван. Позвольте отрекомендоваться: Задристанный Диван. Очень приятно. Так вот, в Кошкин день в 1957 году, я, Задристанный Диван, стояла на кухне в нашей огромной квартире, где, кроме нас, жили еще семь семей, и смотрела, как мама готовит праздничный ужин.

Мы жили в коммунальной квартире – явление это стало массовым после революции, когда большие квартиры уплотняли и разделяли на много комнат поменьше, чтобы поселить в них несколько семей. В нашей квартире было восемь комнат – и двадцать восемь жильцов. Из части окон открывался вид на живописную улицу самого красивого (по нашему, по крайней мере, мнению) города в мире, остальные смотрели во двор. По размеру комнаты в квартире были очень разные, так что одним семьям достались большие, а другим – поменьше.

Распределение это было случайным, кому-то повезло, кому-то – не очень, но, как бы там ни было, на одну семью полагалась только одна комната. Двери всех комнат выходили в длинный узкий коридор, который заканчивался туалетом: крохотным помещением, посреди которого, как трон, возвышался унитаз. Бачок висел под самым потолком, и с него спускалась длинная металлическая цепочка с ручкой. На вбитый в стену гвоздь была наколота нарезанная на квадратики газетная бумага – жесткая, понятное дело, как газетной бумаге и полагается, так что ее приходилось тщательно мять и комкать в руках, чтобы размягчить. Туалетную бумагу в те времена в Советском Союзе не производили, да и впоследствии, когда она наконец появилась, достать ее было невозможно.

Посередине коридора на стене висел телефон – номер, как сейчас помню, В33745, общий на всю квартиру. Как насчет ванной? Она вообще-то была, да вот толку от нее было не много: вода нагревалась колонкой, которую по старинке растапливали дровами. Раскочегаривалась она медленно, возиться с ней было неохота, так что мы предпочитали ходить в баню. Зато в ванной можно было стирать – ну, или зайти туда с друзьями, чтобы поговорить с глазу на глаз, если возникнет такая необходимость.

Идем дальше: кухня. Одна кухня с восемью кухонными столами на восемь хозяек, которые плечом к плечу варили здесь бесконечные супы. Они обменивались рецептами, одалживали друг другу соль и комментировали ход событий в стенах нашей огромной квартиры. Еду готовили на двух с половиной газовых плитах: двух больших на четыре конфорки и одной маленькой – на две. За каждой комнатой была закреплена одна определенная конфорка, которую ответственная за нее семья обязана была поддерживать в чистоте. Если же хозяйке требовалось одновременно готовить несколько блюд, она должна была сначала постучать к соседям и попросить у них разрешения занять на время их конфорки.

В тот день в 1957 году соседка, с которой мама дружила больше всех, одолжила ей духовку, чтобы испечь торт «Наполеон».

Семья, которая распоряжалась духовкой, насчитывала пять человек и занимала самую большую комнату в квартире – целых 25 квадратных метров! – зато они даже мечтать не могли о том, чтобы получить большую жилплощадь, потому что на место в очереди тогда имели право только те семьи, в которых на человека приходилось меньше 4,5 квадратных метров.

Задача наших соседей решалась следующим образом:

$$5 \times 4,5 \text{ м}^2 = 22,5 \text{ м}^2$$

$$25 \text{ м}^2 - 22,5 \text{ м}^2 = 2,5 \text{ м}^2$$

Получается лишних 2,5 м².

Очень обидно!

Мы же с родителями жили в комнате площадью 12 м², а право имели на 13,5 м². Так что наша задача решалась так:

$$3 \times 4,5 \text{ м}^2 = 13,5 \text{ м}^2$$

Нам не хватало 1,5 м².

Какое счастье!

Система, которая нами правила и распределяла блага, была ужасно мелочная, и постоянно придирчиво высчитывала по полметра, полчаса, полпытки. Можно было целую вечность прождать разрешения встать в очередь на расширение жилплощади, а когда это наконец удавалось, отсчет времени ожидания начинался заново. В итоге легко могло пройти лет двадцать с того момента, как ты встал на очередь, до того, как ты получал, наконец, то жилье, на которое имел право все эти годы.

В тот вечер в нашей комнате собрались по случаю праздника восемь человек – выжившие и их близкие. Люди, которые спасли когда-то друг другу жизнь и уцелели в блокаду. Понятно, что у каждого из них были свои истории о войне, одна страшней другой. Взять, например, историю моего дедушки, маминого отца: он сошел с ума, когда получил месячную норму сахара и съел ее всю за один присест. Потом он понял, что наделал, и в исступлении и отчаянии кричал, пока не умер. В детстве я постоянно думала: интересно, он съел сахар, потому что уже сошел к тому моменту с ума от голода – или он сошел с ума, когда обнаружил, что съел сахар? Или история моей тети, маминой сестры: она в блокаду была беременна, и роды у нее начались зимой 1942 года, в самый страшный мороз. Утопая в снегу, она доковыляла до роддома, где ее сразу положили на стол – прямо в пальто, чтобы она не замерзла до смерти. Ребенок родился, попал из тепла в холод и умер. Тетя долго лежала на столе с ребенком в руках, пока наконец кто-то не пришел и не забрал тельце. Тогда она встала и в том же пальто, с которого свисали кровавые сосульки, отправилась обратно в воинскую часть, в которой служила. В части находились тогда несколько моряков – их корабль вмерз в воду в Финском заливе и не мог сдвинуться с места. Каждый из них поделился с тетей ложкой супа, так что получилась целая тарелка. Детей у нее никогда больше не было, зато она стала для меня второй мамой. Я как сейчас вижу перед глазами ее красивые руки – она всегда делала ими круговые движения, когда рассказывала о блокаде. О том времени, когда она умирала от голода, лежа в своей холодной и темной комнате (большая часть оконных стекол в городе была выбита взрывной волной от бомб). Она лежала и мечтала о хлебе, круглом ржаном хлебе. Гладила его, ласкала круглые бока несуществующей буханки. К счастью, маме как раз тогда удалось раздобыть дополнительный мясной паек весом 26,6 граммов и паек жира весом 8,3 грамма. Ну, паек – громко сказано, конечно, это был крошечный кусочек печенки, с которым мама, едва переступая ногами от слабости, через весь город отправилась к сестре. Когда я думаю о блокаде, я всегда вспоминаю тетю. Как она гладит круговыми движениями воздух, как рассказывает о хлебе, который существовал только в ее воображении. Как мама бредет к ней издалека со спасительным кусочком печенки.

Но вернемся в февраль 1957 года. Каким образом можно принять восемь гостей в комнате площадью двенадцать квадратных метров, в которой и без того уже стоят диван, стол, четыре стула, телевизор, комод и пианино? Да так же, как усадить четырех слонов в «Запорожец»: двоих на переднее сидение, двоих – на заднее.

Мы называли нашу комнату «трамваем»: она была два метра в ширину и шесть – в длину, с окном напротив двери. Окно выходило в темный двор, типичный ленинградский внутренний двор, многократно описанный в русской классике. Если высунуться из окна почти по пояс, так, чтобы стало видно стену шестизэтажного здания напротив, можно было разглядеть на ней солнечную полоску – или ее отсутствие. Так я узнавала, какая на улице погода. Кроме того, окно служило нам холодильником. Зимой продукты вывешивали в авоське за окно, а летом складывали между рамами. Солнце так глубоко во двор все равно никогда не заглядывало.

На диване, если потесниться, помещались четверо, и за столом напротив можно было усадить еще как минимум четверых. Места, в общем, всегда на всех хватало, а на стол ставили то, что хозяевам в тот день удалось достать в магазине. Советский праздник не соблюдал традиционной последовательности, как закуска – горячее – десерт, и на стол ставилось все сразу, все, что удалось достать.

На столе всегда была селедка. Правда, если в Дании селедку едят маринованной, то в России ели – и продолжают есть – соленую. Рубленая селедка с луком, сметаной и яблоком (если его повезло раздобыть) была одним из постоянных блюд в меню, наряду с салатом из мяса, картошки, яиц, соленых огурцов, зеленого горошка и майонеза. Откуда брались все эти деликатесы – для нас самих каждый раз оставалось загадкой. Майонез и горошек, например, неизменные составляющие любого советского застолья, всегда были в дефиците. За яйцами, мясом и фруктами стояли бесконечные очереди. Ты пристраивался в самый ее конец и только после

этого спрашивал человека перед тобой: за чем, собственно, стоим? И если давали, например, яйца, по десятку в одни руки, тогда я должна была стоять вместе с мамой, чтобы нам отпустили двойную норму. Хлеб без проблем можно было купить в больших городах, но в сельской местности в очереди за ним приходилось провести целую ночь. Контролировать людей, которые все свободное время простаивают в очередях за едой, было легче легкого. Может быть, власть имущие специально создавали этот дефицит продуктов? Можно ли представить себе, что какой-то партийный секретарь решил: «Пусть они, не знаю, в очередях постоят, что ли?.. Да, точно! Решено! Организуем им очереди за зеленым горошком и майонезом». Нет, это, конечно, абсурдная мысль – но все равно, я и по сей день не понимаю, что мешало Советскому Союзу производить именно эти два продукта в достаточных количествах.

Для «Наполеона» не нужны были ни горошек, ни майонез, но требовалась куча времени, чтобы испечь множество тонких коржей. Так что мама пекла этот торт только один раз в году – в Кошкин день.

Во время блокады, в темноте и холоде, она переписывала в тетрадку рецепты из кулинарной книги. Это была чудная дореволюционная кулинарная книга.

Домъ и Хозяйство

Руководство

къ рациональному веденію домашняго хозяйства
въ городѣ и въ деревнѣ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

1909.

Питательные кухонные рецепты.

Распредѣленіе дичи, рыбъ и овощей по мѣсяцамъ, сообразно
времени года, и роспись блюдъ на особые случаи.

ФЕВРАЛЬ.

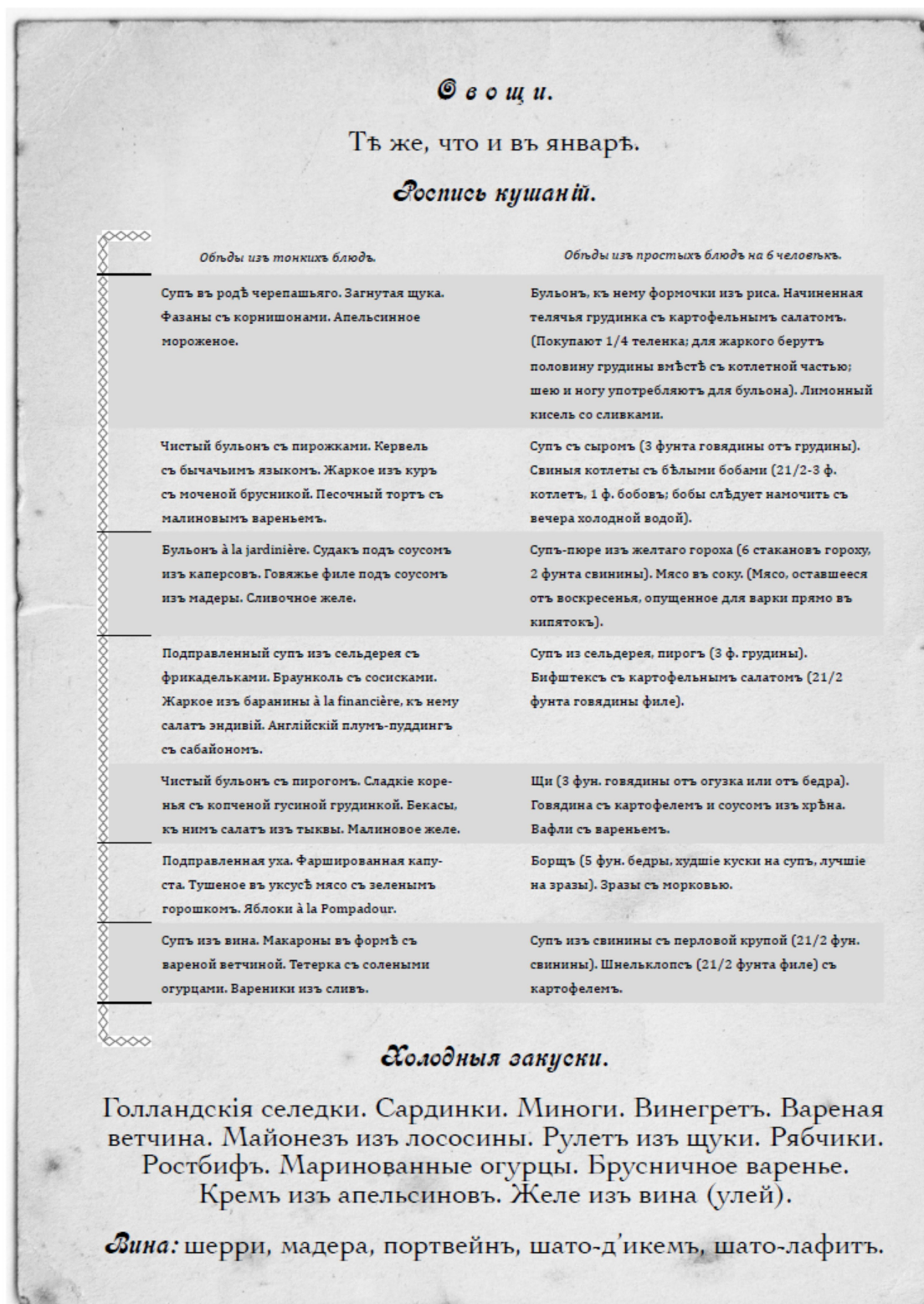


Д и ч ѣ.

Глухари и тетерьки, бекасы и рябчики, дикія утки, самки
фазановъ.

Р ы б ы.

Караси, окуни, судаки, лососина, лещи, навага, щуки, карпы.



Мама родилась перед самой революцией и в жизни не видела ни тетерева, ни самки фазана. Весь тот прекрасный мир кулинарных книг, населенный господами, прислугой и самками фазана, прекратил свое существование в 1917 году. Рыба исчезла из рациона тогда же и снова появилась на прилавках через много лет после маминой смерти.

Во вторник 15 февраля 1942 года книга рекомендовала — тем, кто желал вкусить тонких блюд — отведать бульон à la Jardinière, судака под соусом из каперсов, говяжье филе под соусом из мадеры и, наконец, сливочное желе. Меню же для людей попроще состояло в тот день из

горохового супа-пюре (шесть стаканов желтого гороха на два фунта свинины), а также мяса в соку (половина оставшейся с воскресенья грудины, опущенная прямо в кипяток). В тот же день в промерзшем до костей Ленинграде, где не было ни тепла, ни света, мама и двое ее друзей съели царский ужин из жаренной на касторке кошки, с гарниром из трех высохших пластинок репчатого лука. В тот же день от голода умерли тридцать тысяч ленинградцев.

Однажды, лет через двадцать, я поджарила нам с мамой целую сковородку котлет – четырнадцать штук – и ушла по делам. Когда вечером я вернулась домой и заглянула в холодильник, я обнаружила, что все четырнадцать котлет бесследно исчезли. Я спросила:

– Мама, где котлеты?!

Мама сжалась и посмотрела на меня виноватым собачьим взглядом. Она знала, что съела что-то нехорошее, но ничего не могла с собой поделать. Она ответила:

– Я их съела.

– Съела? Все четырнадцать?

Мама помолчала и сказала наконец:

– Я вдруг испугалась, что они испортятся.

Голодное сумасшествие, как спящий вулкан, оживало и извергалось вдруг в самые неожиданные моменты даже спустя много лет.

Теперь же обеденный стол ломился от яств. Был здесь и майонез, и горошек, и «Наполеон». Гости пировали, сидя плечом к плечу. Те, кому досталось место на диване, устроились на самом краешке, так что за их спинами оставалось место для меня. Я лежала на диване, читала книгу и была абсолютно счастлива.

Все мое детство, сколько я себя помню, родители пичкали меня едой, а я отказывалась есть. Только гораздо позже, уже будучи взрослой, я поняла наконец, почему они все время пытались меня накормить. Они жили в постоянном страхе: а вдруг еда закончится, вдруг ее перестанет хватать. Но в тот вечер о страхах не думали, мама с папой весело смеялись и пели с гостями. Скорее всего, никто, кроме меня, и не вспомнил о несчастной кошке. Все остальные просто радовались тому, что живы.

Еда была для меня вечной пыткой. Нет, я не страдала анорексией, ничего такого, но я просто физически не могла запихнуть в себя все то, что мама, расшибаясь в лепешку, каждый день ставила на стол. Да еще и с хлебом вприкуску, конечно, как же без хлеба. От детей по всему миру и сейчас требуют съесть все, что есть на тарелке. Я же, когда родила дочку, вспомнила о данном себе торжественном обещании никогда-никогда-никогда не заставлять ребенка есть насильно. Так что когда Аня пила молоко из бутылочки и останавливалась, я, думая, что она наелась, убирала бутылочку. Что оставалось делать бедной девочке – естественно, в следующий раз она принималась сосать, как одержимая, пока не выпивала все до доньшка, и потом смотрела на меня большими полными ожидания глазами: еще дадут? – и я думала о том, какой длинный след протянулся от ленинградского голода до нашей копенгагенской квартиры, из сороковых в середину семидесятых.

Суточная норма питания в Ленинграде в 1942 году составляла сто двадцать пять граммов хлеба. Точка.



Собака здорова

Эта история произошла в конце лета 1952 года, незадолго до того, как я пошла в первый класс. Мы гостили у тети в Литве, и там меня укусила собака – маленькая беленькая собачка, нечаянно цапнула, заигравшись. Пустячная царапина, ничего серьезного, но тем не менее мне назначили целый курс прививок от бешенства: сорок уколов в живот. Эти уколы мне продолжали делать и после того, как мы вернулись домой в Ленинград.

Сталину тогда оставалось жить восемь месяцев. За годы своего правления руками чудовища-НКВД он убил миллионы людей: рабочих и крестьян, футболистов и археологов, известных и неизвестных. Когда в 1939 году они с Гитлером поделили между собой Европу, Литва досталась Сталину. Шесть лет спустя война вроде бы закончилась, но засевшие в родных лесах литовские партизаны продолжали вести неравную борьбу с Советским Союзом. Они использовали любую возможность навредить советской власти, власть отвечала им тем же. Расправы не прекращались.

Мы с мамой тем временем готовились к школе. Мама шила кармашки из зеленого сукна, которые соединялись потом в длинные полоски. Это была наша азбука. В каждый кармашек вкладывались четырехугольные кусочки картона, на которых я рисовала яркие буквы. Всего их в русском алфавите тридцать три, и я выучила их давным-давно. Я жила в разноцветном водовороте букв.

Каждый день мы проходили мимо розового здания школы на площади Льва Толстого. Я с нетерпением ждала первого школьного дня, но это радостное предвкушение омрачалось тем, что мама почему-то часто плакала. В то позднее лето сталинской деспотии преследования евреев никого уже не удивляли. Люди снова начали бесследно пропадать. Из-за того, что мама была еврейкой, ее выгнали с работы в химическом НИИ, она долго не могла nowhere устроиться и в конце концов, чтобы как-то прокормиться, выучилась на маникюршу. Это было востребованное занятие – несмотря на убийства дядей, тетей, мужей, возлюбленных, братьев и сестер, женщины все равно продолжали ходить в парикмахерскую и делать маникюр.

Однажды маме позвонили и, ничего не объяснив, приказали немедленно явиться на почту. Господи, почему именно на почту-то? Казалось бы, самое мирное место из всех возможных! Да и никого из наших знакомых никогда не вызывали на почту. Всех, кого арестовывали, забирали или ночью из дому, или с работы, или прямо на улице. Я помню мамин ужас и свое недоумение – я совсем не понимала, чего она боится.

Мама собрала теплые вещи, заперла нашу комнату на ключ, и мы отправились в путь. Мы прошли мимо розовой школы, мимо дома культуры, мимо женщин, торгующих цветами, и наконец пришли на почту, где сильно пахло сургучом. В одном окошке принимали посылки, во втором выдавали и принимали письма, в третьем выплачивали пенсию. Нас с мамой провели мимо всех трех очередей в служебное помещение, где уже поджидали двое мужчин. Один из них выложил на стол перед мамой телеграмму.

– Объясните, что это значит! – потребовал он.

Телеграмма была из Литвы на мамино имя. По маминым щекам покатались слезы. Она громко прочитала: «Собака здорова». Только эти два слова, ничего больше – ведь каждое слово стоило денег. Мама непонимающе уставилась на телеграмму и зарыдала. Хотя – что же тут непонятного? Она повторила: «Собака здорова». Ну, конечно: собаку обследовали, и выяснилось, что она абсолютно здорова, а значит, мне не нужно больше делать уколы. И это вовсе никакая не шифровка, и мама – не шпион и не враг народа, и не имеет никакого отношения к партизанам из литовских лесов. Советский Союз может спать спокойно. Мама смотрела на

мужчин, продолжая рыдать, но тут до нее окончательно дошел смысл прочитанного и она принялась объяснять, в чем дело.

– Сонечка, – сказала мама, – покажи им животик!

Я с готовностью задрала кофточку, демонстрируя многочисленные следы от уколов. Какое счастье, что я пошла с мамой!

Нам повезло. Нас отпустили, и собранная мамой одежда не понадобилась. Когда мы вышли на улицу, мама остановилась и расхохоталась, хотя по щекам у нее по-прежнему катились слезы.

– Идиоты! – воскликнула она. У меня в ушах до сих пор стоит тот ее смех. Мама смеялась всю дорогу домой.

Это была моя первая встреча с чудовищем, его первая попытка до меня дотянуться. Это был день, когда у нашей семьи появился девиз. «Собака здорова!» – объявляли мы всякий раз, когда выяснялось, что горизонт чист и бояться нечего.



Лолита Торрес

Северная Венеция. Город, основанный Петром I в устье Невы на побережье Финского залива. Самый красивый город на Земле, выстроенный лучшими итальянскими архитекторами, с серым кружевом волн между дворцовыми фасадами. Санкт-Петербург – Петроград – Ленинград – Санкт-Петербург. Один и тот же, как его ни назови, город. Мой город. Идущая от моста через Неву улица приводила к воротам нашего дома № 27 у самой площади Льва Толстого. За украшенной стеклянными вставками парадной дверью открывался роскошный подъезд с камином и росписью на стенах. Огонь в камине погас в революцию, тогда же исчез и швейцар – как оказалось впоследствии, навсегда.

Широкая выдавшая виды мраморная лестница вела к квартирам. Наша была на втором из пяти этажей, и на стене у двери линейчквыстроились в колонну восемь звонков, по одному на каждую живущую в квартире семью. Мы с соседями были пассажирами одного корабля, на всех парусах несущегося к светлому коммунистическому будущему.

Совместное проживание такого количества людей легко могло бы превратиться в ад, однако мы жили мирно и дружно, не забывая, впрочем, присматриваться к тому, чем соседи занимаются, и прислушиваться к чужим телефонным разговорам. Все в квартире, например, прекрасно знали, как часто соседи моются и ходят в туалет – который, кстати сказать, располагался прямо рядом с кухней, – а также кто что ест, кто с кем спит и кто с кем разговаривает по телефону. Жизнь пассажиров коммунистического круиза шла своим чередом, не нарушая заведенного порядка. Соседи дисциплинированно убрали по очереди места общего пользования. Когда наступал наш черед, моей обязанностью было нарезать из газеты квадратики, которые потом нанизывались на гвоздь и служили туалетной бумагой. Мне миллион раз внушали, что лиц на этих квадратиках быть не должно – что, если ты по недосмотру повесишь на гвоздь в туалете Сталина и потом им подотрешься?

В огромной шестнадцатиметровой комнате прямо напротив нашей жила пожилая супружеская пара и их взрослый сын. Муж был приятным немногословным седым человеком, необычайно вежливым – он всегда приветливо здоровался и придерживал двери, пропуская дам. О нем было известно, что до революции он был «кем-то», но никто никогда не упоминал, кем именно. Хоть мы и жили бок о бок, знали мы друг о друге совсем не все – люди боялись неприятных разоблачений. В каждой коммуналке обязательно был квартуполномоченный, через которого с жильцами общались власти. Нашим уполномоченным был тот самый вежливый мужчина. Жена его никогда не выходила на улицу днем, но случалось, что поздно вечером, когда все остальные ложились спать, мама говорила «я выйду ненадолго с Ниной Сергеевной» и выводила ее через черный ход во двор. Типичный питерский двор, со всех сторон окруженный стенами, в котором чувствуешь себя, как на дне колодца. Мама брала Нину Сергеевну под руку и гуляла с ней немного по темному двору. Это было задолго до того, как мы узнали о существовании фобий.

Самую большую комнату – целых двадцать пять квадратных метров – занимали родители с тремя дочерьми. Мы с младшей (моей ровесницей) были самыми юными членами квартир-ного экипажа. Комната этой семьи была на два с половиной метра больше нормы, что не давало им права встать в очередь на расширение жилплощади.

В какой-то момент старшая сестра вышла замуж, так что в комнате отодвинули от стены шкаф, и там-то, за шкафом, и обосновались молодожены.

Решение задачи после свадьбы старшей дочери выглядело следующим образом:

Мать, отец, 2 незамужние дочери, 1 замужняя дочь + 1 зять

$$6 \times 4,5 \text{ м}^2 = 27 \text{ м}^2$$

$$25 \text{ м}^2 - 27 \text{ м}^2 = 2 \text{ м}^2 \text{ меньше нормы!}$$

Теперь семья имела право встать в очередь на расширение жилплощади.

Но тут замуж вышла и средняя дочь, и вся квартира затаила дыхание. Как насчет ее мужа, он тоже собирается поселиться в той же комнате? Но увы, на этот раз молодожены переехали к родителям новоиспеченного супруга, так что решение задачи вернулось к исходному, разве что с незначительными поправками:

Мать, отец, 1 незамужняя дочь, 1 замужняя дочь + 1 зять

$$5 \times 4,5 \text{ м}^2 = 22,5 \text{ м}^2$$

$$25 \text{ м}^2 - 22,5 \text{ м}^2 = \mathbf{2,5 \text{ лишних м}^2, \text{ будь они прокляты!}}$$

Семья опять не имела права встать в очередь на расширение жилплощади.

Во всем, что касалось статуса, советское общество было устроено вертикально. Человек, работавший, например, ядерным физиком, находился на самом вершине иерархии, и от нянечки в детском саду его отделяло расстояние в несколько световых лет. С точки зрения зарплаты разница между ними тоже существовала, но все-таки не такая большая, как можно было бы ожидать. В Советском Союзе все прекрасно знали, кто сверху, кто снизу, а кто посередине, и никакая революция этого изменить не могла. Мечта о всеобщем равенстве на поверку обернулась пшиком. Революция разве что развернула вертикальную линию немного иначе, так что сверху, снизу и посередине оказались теперь другие люди. Существовало множество видов неравенства: кто-то был старше, кто-то младше, кто-то богаче, кто-то беднее, кто-то умнее, кто-то глупее. Мы занимались вечным сравнением всех со всеми. Семья с тремя дочерьми из кожи вон лезла, чтобы заработать себе на пропитание. Я понятия не имела, чем занимается отец семейства, и только много лет спустя случайно узнала, что он работает официантом – вроде бы занятие как занятие, ничем не хуже других, и все-таки не совсем. Это была одна из постыдных профессий, и когда я однажды зашла в кафе, в котором он, как оказалось, работал, мы сделали вид, что друг друга не узнали. Революция не помогла ни на грош.

Стоял конец мая, и ленинградский воздух взорвался запахами цветущей сирени. Школьный год почти закончился, вот-вот должны были начаться три долгих, три счастливых месяца летних каникул: июнь, июль и август. Мы потихоньку начали готовиться к отъезду на дачу.

В то лето нашему отъезду предшествовали драматические события. Матери семейства с лишними двумя с половиной метрами удалось как-то раздобыть рулон черной шерстяной ткани. Это обстоятельство могло бы положить начало новой жизни, так как открывало поистине безграничные возможности. Мечта о достатке потихоньку обретала реальные очертания, пока ткань нарезалась на крупные четырехугольники, на каждом из которых соседка рисовала синие цветы с зелеными листьями. Разрисованные четырехугольники превращались в платки... Множество платков, которые затем можно было бы продать – и разбогатеть. И нажить неприятности с законом. И сесть в тюрьму. Да, за разрисовывание платков синими цветами с целью последующей продажи вполне можно было угодить в тюрьму.

Предполагалось, что при коммунизме все должны быть счастливы: «от каждого по способностям, каждому – по потребностям». Однако в то время мы находились еще в социали-

стической фазе, так что вкладывать все должны были по способностям, а получать оплату за свою работу – «по труду». Дорога к коммунизму была вымощена социализмом, и тут не было места личной инициативе. Распределением благ занималось государство, сами граждане никак не могли улучшить свое благосостояние. Так что и правом на продажу пары брюк или платка обладало исключительно государство. Зато мы находились уже на полпути к счастью и коммунизму.

Советским гражданам обещали, что при коммунизме у них будет абсолютно все необходимое – даже собственный самолет. Самолет – это хорошо, конечно, но что с ним делать? Ну как же – вот живешь ты, скажем, в Ленинграде и вдруг узнаешь, что в Москве в магазине на главной улице только что выбросили в продажу сосиски. Тут-то ты и садишься в свой самолет, летишь в Москву и встаешь в очередь!

Под повседневной действительностью постоянно прятался приглушенный ужас. Запретов существовало столько, что каждому было, что скрывать. Оставалось только гадать, кто первым на кого наступит. В нашей квартире жили и ежедневно ходили по минному полю из запретов и тайн двадцать восемь человек. Комнату по соседству с нашей, например, занимала вполне симпатичная женщина, и тем не менее я откуда-то точно знала, что с ней нужно быть начеку. Не помню, рассказал ли мне кто-то, что она стукачка, или я избегала ее просто по наитию, но... что, если она пронюхает про платки? Тут-то и сыграл свою роль наш приближающийся отъезд. Дело в том, что если в городе продукты, хоть и с трудом, еще можно было достать, то в деревне это было практически невозможно, так что любое путешествие требовало предварительной продуктовой подготовки. Вот мама и принялась запасаться съестным, для чего завела коробку из-под телевизора, куда складывала продукты: муку, макароны, сахар, печенье. Даже немного конфет – правда, не для меня, а для цыганских детей: рядом с тем местом, где мы проводили каникулы, как раз был барак, битком набитый несчастными цыганами, и если кто действительно находился на самом дне общества, так это они.

Мама на нашем минном поле оказалась настоящим другом в беде, так что запретные платки хранились на дне коробки под продуктами. К сожалению, ее соучастие в преступлении все-таки было раскрыто – хоть и не стукачкой, а моим отцом, членом коммунистической партии с 1931 года. Он пришел в ярость, и в нашей семье разыгрался чудовищный скандал. Отец орал и рычал, мама же вела себя, как партизан, попавший в лапы гестапо, и наотрез отказывалась признаваться, откуда взялись платки. Я, хоть и знала, тоже держала язык за зубами, поэтому отец так никогда и не докопался до правды. Однако он потребовал немедленно избавиться от платков, и вскоре мы уехали в деревню.

Многие горожане проводили лето в деревне – на дачах, воспетых классической русской литературой. Дача, как известно, это и место, и состояние. До революции русское общество делилось на богатых, которые уезжали летом в свои загородные поместья и возвращались в город на зиму (как царь в свой Зимний дворец) – и миллионы крестьян без всяких прав, по большому счету рабов, которые постоянно жили в деревнях. Кроме того, существовала средняя прослойка горожан, не имевших собственных поместий, но тоже желающих вывезти семью на лето на природу. Их-то и называли дачниками. Они снимали дачу в деревне, недалеко от города, чтобы отцу семейства удобно было приезжать к ним после работы. Дачники могли быть более или менее обеспеченными, но бедными они не бывали точно, так что вокруг них быстро образовывалась инфраструктура из молочниц, сторожей, конюхов, лодочников, кормилиц и прочих представителей сферы обслуживания из местных крестьян. Все они относились к дачникам с почтительной робостью.

После революции никаких поместий с конюхами не осталось, так что русские дачи моего детства представляли собой нечто совершенно другое. Крестьяне в деревнях продолжали жить без всяких прав, но были теперь объединены в колхозы, с государством в качестве главнокомандующего. В каждом районе был свой партком, который приказывал, когда нужно сеять и когда собирать урожай. Мы приезжали из города, чтобы провести каникулы в деревне, и снимали комнаты у местных семей, которые, по большому счету, продолжали жить, как рабы, зато на природе, о чем мы, городские, могли только мечтать. Здесь я просыпалась утром и сразу видела, что светит солнце – в Ленинграде мне сперва нужно было чуть ли не по пояс высунуться из окна, чтобы разглядеть солнечную полоску на верхних этажах дома напротив. Попадая в деревню, ты и сам как будто становился другим человеком. Человеком, который питается найденными в лесу грибами и ягодами и пьет молоко знакомой коровы. Человеком, который трогает цветы и лежит на траве. В черте города это было строго запрещено – везде были расставлены таблички с запретами «по газонам не ходить» и «траву не мять». На даче же все было позволено.

Каждый год мы отправлялись на поезде в деревню под Псковом, и это было путешествие не только в пространстве, но и во времени. Мы садились в поезд на Варшавском вокзале, и через пять часов эта железнодорожная машина времени привозила нас в далекое прошлое, как будто отбрасывая на тысячу лет назад. Здесь не было ни электричества, ни газа, ни телефона, ни водопровода – ни, понятное дело, продуктов в магазинах.

Историю о том, почему мы ездили именно на Псковщину, нужно начинать издалека: у мамы была сестра, у сестры – муж, у мужа – брат, у этого брата – сын, у сына – жена, у жены – тетя, а у этой тети, наконец, сын. В общем, как мы шутили, наш любимый родственник – сын тети жены сына брата мужа маминой сестры. Так вот, этот самый сын в двадцать четыре года закончил институт и получил диплом хирурга и распределение на следующие три года. Это была обычная практика советского времени для всех, кто не смог «отмазаться» и остаться в Ленинграде. Государство отправило молодого хирурга в псковскую деревню, застрявшую в глубоком прошлом. Вместе с женой, врачом-педиатром, он снимал домик у местной семьи. Мы дружили с этой докторской четой, и поэтому несколько лет подряд уезжали к ним на лето. Папа оставался в Ленинграде, а мы с мамой снимали комнату в деревянной избе. Дом молодых врачей, как представителей местной интеллигенции, был заставлен книгами – собраниями сочинений в коричневых и зеленых обложках. Лето за летом я проводила, лежа с книжкой в руках, запоем поглощая русские переводы произведений мировой литературы: Оноре де Бальзак, Эмиль Золя, Анатоль Франс, Джек Лондон, Марк Твен, Оскар Уайльд, Джордж Бернард Шоу.

Льды сталинизма начинали таять, и наступил тот короткий период в истории страны, когда власть имущие ненадолго заключили перемирие с населением. Жизнь стала немного светлей. Колхозникам наконец-то разрешили держать корову, и это стало серьезным подспорьем в хозяйстве, ведь кроме того, чтобы накормить всю страну, деревенским жителям нужно было как-то прокормиться и самим. Вся земля по-прежнему принадлежала государству, по собственному усмотрению выделявшему колхозникам участки, где разрешалось косить траву для заготовки сена на зиму. Но количество стогов при этом было нормированным, и их никогда не хватало, поэтому по ночам женщины крадучись выходили на промысел, чтобы пополнить запасы. С серпами в сумках они уходили за километры от дома, в темноте кося траву на обочинах, опушках и полянах. Так была устроена коммунистическая действительность: корову запрещали, корову разрешали, траву запрещали, траву разрешали. Все постоянно были при деле, занятые выяснением того, что им сегодня можно, а чего нельзя. Пока люди на вершине иерархии решали, как бы еще им осчастливить человечество, маленький человек сидел в своем уголке и просто мечтал о корове.

Когда мы начали ездить в деревню на каникулы, времена изменились. Не то, чтобы значительно, но теперь, например, семьям позволено было заготавливать траву, которую затем хранили на сеновалах. Магазины же по-прежнему стояли пустыми. В деревнях питались тем, что выращивали в огороде, и молочными продуктами собственного производства. Корова и огород были необходимыми условиями выживания. По всей стране люди выращивали и ели одно и то же: картошку, огурцы, капусту, лук, редиску и укроп. Ходили в лес за грибами, собирали клюкву, малину и чернику. Праздничным ужином в советской семье считалась жареная картошка с грибами и малосольными огурцами.

РЕЦЕПТ РУССКОГО СЧАСТЬЯ

Всего 24 часа терпения – и вам откроется подлинный вкус русской жизни!

1 кг огурцов
1 пучок зонтичного укропа
Листья смородины
3-5 зубчиков чеснока
1 л кипятка
1 ложка соли

Маленькие огурцы тщательно вымыть, отрезать кончики и сложить вместе с другими ингредиентами в банку. Развести соль в 1 л кипятка и залить этим раствором содержимое банки. Плотно закрыть. Есть на следующий день с молодой картошкой.

Хозяин дома, в котором мы снимали комнату, прошел войну и вернулся с фронта инвалидом, без ног. Половиной человека. Туловище его выросло сразу из доски с колесиками, на которой он сидел. Иногда заходили соседи и выносили его на дорогу, где он оживленно беседовал с прохожими. Он говорил вслух много такого, о чем другие разве что думать отваживались. Он ничего не боялся, терять ему было нечего.

Та война стала самой ужасной трагедией в истории страны. Она унесла двадцать семь миллионов человеческих жизней. Счета вдовам и сиротам никто не вел. 2 576 000 солдат вернулись с войны калеками. Они надевали свои ордена и медали и пели и просили милостыню на улицах и рынках. Мужчины с ампутированными конечностями попрошайничали в электричках. Безногие, безрукие, слепые, с ожогами – в какой-то момент все они вдруг исчезли. Слишком уж они не вписывались в глянцевою картинку, как досадное пятно на советском военном триумфе – никому не должно было быть дозволено портить своим видом внешнее благополучие счастливого социалистического общества. Вот и было решено убрать их куда подальше: собрать всех до единого и выслать из городов в дома инвалидов. С глаз долой, из сердца вон. Однако наш хозяин избежал такой судьбы, его жена не бросила вернувшуюся с войны половину мужа. Ему повезло, он был счастливчик.

Мы приезжали из города в деревню, чтобы побыть на природе и свежем воздухе. Наша жизнь тесно переплеталась с жизнью хозяев дома, в котором мы останавливались – еще бы, ведь мы были единственным источником их дохода. Мы платили за комнату, мы покупали у них овощи, мы покупали парное молоко. Мне разрешали гладить корову, пока хозяин, сидя на своей доске, доил ее сильными руками. Мы стояли вместе с ними в очередях за хлебом.

Печь хлеб самим в Советском Союзе было не принято, да и зерна все равно на всех не хватало. Хлеб пекли централизованно, на хлебозаводах, и раз в неделю завозили в единствен-

ный деревенский магазин. В очереди за ним нужно было простоять целую ночь. Мы с мамой сменяли друг друга – одна из нас отстаивала первую половину ночи, другая – вторую. Покупать важно было вдвоем, потому что в одни руки отпускали строго определенную норму хлеба. Местные семьи кормили хлебом скот. Заколдованный круг замыкался.

Колхозники должны были прокормить всю страну, поэтому их держали на коротком поводке. Они и мечтать не могли о том, чтобы переехать в город: для жизни там необходим был паспорт с пропиской. Колхозникам государство паспорта не выдавало, и вся их жизнь жестко контролировалась.

Мне было почти тринадцать лет. В моем теле начинались изменения, а в голову все чаще приходили глобальные вопросы. Кто я? Кем я стану, когда вырасту?

В то лето в деревне мне приснился сон.

Я еду в набитом автобусе, который вдруг останавливается. В автобус заходит вооруженный немецкий солдат. Во сне я знаю, что он ищет евреев, и думаю: а как распознают евреев? Видно ли по евреям, что они евреи? Солдат идет вдоль сидений и, проходя мимо, не глядя, толкает меня ружьем. Я понимаю, что сейчас меня выкинут из автобуса и убьют. И снова думаю: но как же он узнал, что я еврейка?

В классном журнале в школе были записаны наши имена, национальности и хронические болезни, и велся учет нашей посещаемости. Вообще-то ученики не должны были иметь доступа к журналу, но мы все равно заглядывали в него, когда учителя выходили на минутку, оставив журнал раскрытым на столе. У меня в графе «национальность» значилось «еврейка».

«Так ДОЛЖНО быть», говорили мне. «Ты еврейка, и это ДОЛЖНО быть указано в классном журнале. В твоём паспорте будет написано то же самое».

Но почему? Под внешней оболочкой абсолютно ничего еврейского не было. У нас дома никогда не говорили «по-еврейски» – ни на идиш, ни на иврите. Мы не праздновали еврейские праздники – вернее нет, даже не так, я вообще понятия не имела, что существуют еврейские праздники! Я узнала об этом уже взрослой, из книги, переведенной с идиш. В книге были ссылки, в которых, например, объяснялось, что такое ханука.

В Советском Союзе было немало таких, как я, неправильно проштампованных людей. На упаковке большими буквами значилось «ЕВРЕЙ», но стоило ее открыть – и оттуда вываливался человек, который говорил по-русски, думал по-русски, читал по-русски мировую литературу, слушал немецкую музыку, ел русскую еду, любил французские романы и потом, повзрослев, вел интернациональную любовную жизнь.

Вопрос о национальности вставал особенно остро ближе к окончанию школы: все знали, что существует целый ряд специальностей, поступать на которые будет пустой тратой времени, потому что евреев туда просто-напросто не принимают. Никто не задавался вопросом, как такое возможно. Такова была реальность, и с ней оставалось только смириться. Однако все это еще только предстояло в будущем, а сейчас стояло лето, мы гостили в деревне, и я превратилась в голубя мира.

Дом, в котором мы снимали комнату, находился на улице Победы. Улица носила это название и до войны, и я часто думала, в честь какой именно победы она была названа. Самыми распространенными названиями в Советском Союзе были улица Ленина, улица Победы, Пролетарская улица и бульвар Революции. Улица Победы была в каждом без исключения городе, но кто, когда и над кем эту победу одержал? Над шведами в начале восемнадцатого века? Над Наполеоном в 1812 году? Или тогда, когда красные победили белых в 1922 году?

Наша улица Победы была немощенной. Если пройти через огород и слегка заболоченный пустырь, можно было выйти к небольшому возвышению, на котором стоял двухэтажный каменный дом – редкость среди прочих деревянных. Это был дом культуры, и над сценой в нем висел большой красный плакат с ленинской цитатой: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино».

Каждую субботу в доме культуры устраивали танцы, на которые собирались местные, деревенская молодежь, дачники и солдаты из расположенной поблизости воинской части. Тем летом в доме культуры появилось пианино, и однажды решено было организовать перед вечерними танцами концерт. Вся страна была в то время охвачена лолитоманией. Первым западным фильмом, закупленным для показа в Советском Союзе после смерти Сталина, стал аргентинский мюзикл под названием «Возраст любви». Уж не знаю, почему выбор пал именно на аргентинский фильм, с Аргентиной нас ничего не роднило ни в культурном, ни в языковом, ни в географическом отношении. Наверное, после стольких лет страданий и чудовищных испытаний русские люди просто хотели забыться. Главную роль в фильме играла Лолита Торрес, и всю огромную советскую территорию от Москвы до Владивостока захлестнуло волной лолитомании. В честь Лолиты называли дочерей. Женщины делали прически, как у Лолиты, и одевались, как Лолита. Вся страна впитывала в себя песни Лолиты, как земля впитывает теплый дождь после долгой засухи.



У мамы был прекрасный голос. Она никогда не занималась вокалом профессионально – жизнь выдалась слишком тяжелой – зато с удовольствием пела для родных и друзей, и согласилась порадовать нас всех песнями Лолиты Торрес на будущем концерте. Однако никто не отважился бы организовывать концерт, состоящий исключительно из любовных песен. Тут-то

и влетела на сцену я, голубь мира, — одна из многих наряженных в костюмы по такому случаю детей. Дом культуры собирались специально украсить, а местный хор готовился открыть концерт обязательной коммунистической песней. Любви оставалось послушно ждать своей очереди. Мне тоже нашлось место в хоре. Мама нарисовала голубя мира на двух листах бумаги, которые затем склеила в виде шапочки. В этой шапочке я отправилась на репетицию, где мы пели девять куплетов песни «Партия — наш рулевой», которую все знали наизусть:

*Слава борцам, что за правду вставали,
Знамя свободы высоко несли,
Партию нашу они создавали,
К цели заветной вели.*

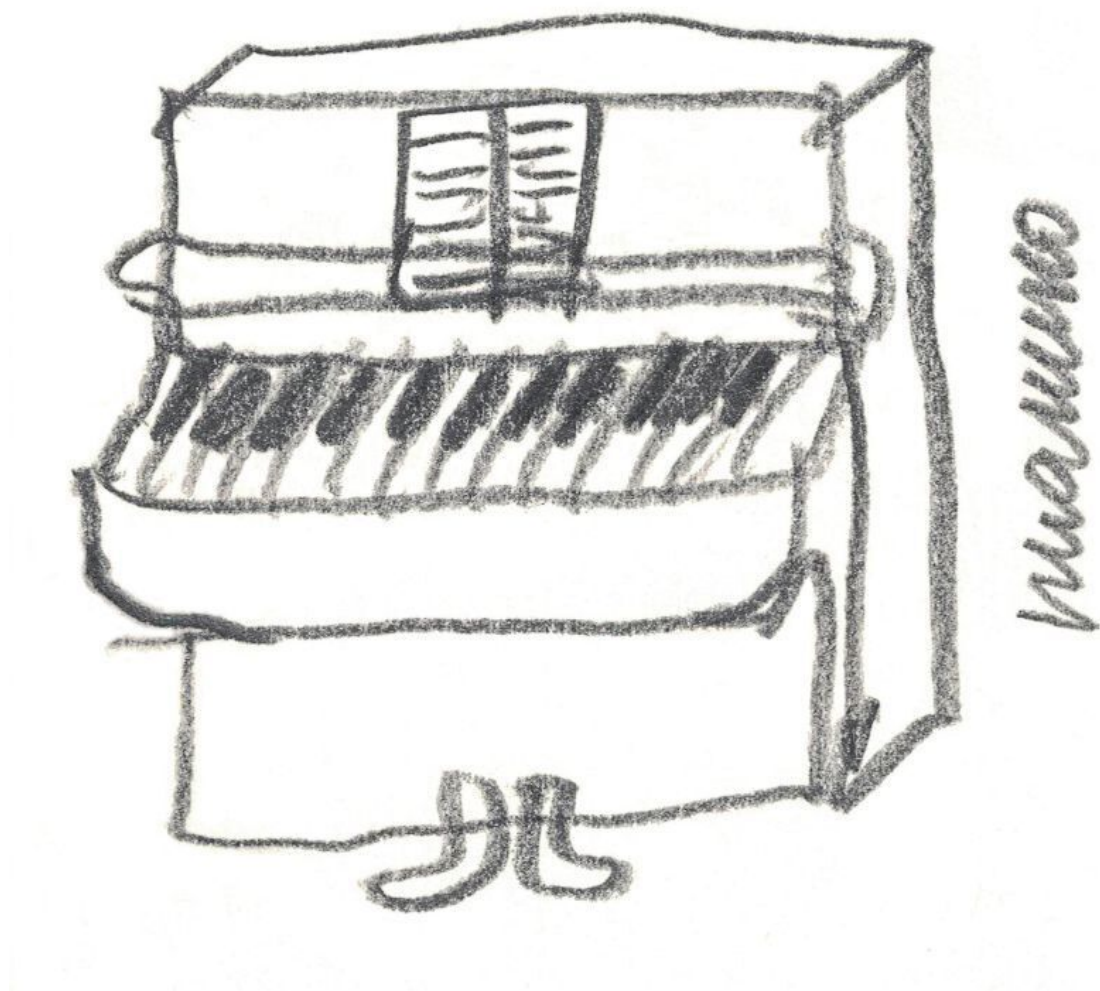
*Долгие, тяжкие годы царизма
Жил наш народ в кабале.
Ленинской правдой заря коммунизма
Нам засияла во мгле.*

За пару дней до концерта к нашим хозяевам приехал гость. У него было удивительное, как мне казалось, имя — Максимилиан. Я была просто очарована. Максимилиан оказался этническим немцем и мужем сестры хозяйки. Я никогда раньше не встречала немцев.

История Максимилиана началась 250 лет назад, когда императрица Екатерина Вторая, немка по происхождению, пригласила своих соотечественников в Россию с целью развивать экономику и сельское хозяйство, посулив им ослепительные перспективы. Немцы приехали и поселились в приволжских городах и селах, где жили затем столетиями.

После революции была создана целая республика поволжских немцев, которую в газетах того времени называли «сталинским цветущим садом», потому что ее жители добились значительного роста промышленности и сельского хозяйства. Когда разразилась Вторая мировая война, всех их — мужчин, женщин, детей, старых и малых — выслали на самые окраины Советского Союза. За тысячи и тысячи километров. 774 178 самых обычных советских граждан, этнических немцев, вырвали с корнем, усадили в теплушки и отправили в Казахстан, Сибирь и на Урал.

Гость с красивым именем приехал издалека, чтобы сообщить хозяйке о смерти ее сестры, и приехал тайком, потому что не смог получить разрешение покинуть Казахстан, куда их в свое время сослали. То есть, совершил преступление! Он пробыл в гостях два дня, практически не выходя из дома. Два дня в доме шептались, а не разговаривали в полный голос. Мама, вечная преступница, нашла в немецком Максе родственную душу. В прошлом он был учителем музыки и играл на рояле. Пианино в доме культуры и Макс появились в деревне примерно одновременно, и слились в единое целое с золотым маминым голосом. Два случайно встретившихся человека говорили в каменном здании с длинными скамейками на языке музыки. Мы, дети, сидели в углу и зачарованно слушали.



Наступил день концерта. И в тот же день наш хозяин, у которого мы снимали дачу, должен был явиться в ближайшую больницу для ежегодного осмотра, чтобы получить очередное медицинское подтверждение своей инвалидности. Систему ведь на мякине не проведешь. «Ну-ка, ну-ка, посмотрим, не отросли ли у меня ноги с прошлой проверки? Нет, вроде не отросли». И все равно, ноги (которых у него не было) в руки, и дуй в больницу. Вечером его втащили в дом культуры и поставили на доске в конце одного из рядов. Мое место было рядом, между ним и его женой. Мама подарила ей один из запретных платков с синими цветами и зелеными листьями, и в этот особый вечер она накинула его на плечи. В зале собрались наши друзья-молодые врачи, местные, солдаты из воинской части и дачники. Я пела вместе с хором «Партия – наш рулевой»:

*Под солнцем Родины мы крепнем год от года.
Мы беззаветно делу Ленина верны.
Зовет на подвиги советские народы
Коммунистическая партия страны!*

То, что чувствовала публика, пока хор восхвалял партию, а все собравшиеся ждали Лолиту Торрес, сложно выразить по-датски, но в русском языке есть для этого красивое слово «предвкушение». Вкус будущего во рту.

Будущее поджидало своей очереди прямо за кулисами. Наконец мама и Макс вышли на сцену. Макс сел за пианино, а мама превратилась в Лолиту:

*Если ты в глаза мне глянешь,
И тревожно мне, и сладко,
Если ты вздохнешь украдкой,
Мне печаль твоя видна.*

Правой рукой я держала за руку инвалида на деревянной доске, левой – его жену в запретном платке. Зал всхлипывал.

*Жизнь свою до самой смерти
Без тебя пройти должна я,
Не прогнать тебя из сердца,
Но из жизни уходи.*

*Уходи, не проклиная,
Расставанья час жестокий,
Наши судьбы – две дороги,
Перекресток позади.*

В Советском Союзе невозможно было жить в реальности, это причиняло слишком много боли. Сколько бы чудовищных испытаний ни выпадало на долю советского человека, пропаганда продолжала настойчиво внушать ему, что он живет счастливой жизнью. За смертью Сталина последовали разоблачения преступлений властей, и вдруг – после сорока лет войн, голода и государственного террора – в сознании появились дыры, потому что люди начали понимать, что вся их жизнь была ложью. В это-то время и подросли аргентинские музыканты о любви – и только о любви, и заполнили дыры в сознании, ранее занятые коммунистическими лозунгами.

Ссылный немец и моя мама-еврейка увлекали публику за собой к новой иллюзии, и никто в тот вечер не остался равнодушным.

*Нет, не надо,
Ни руки, ни взгляда.
В час прощания
Уйди навсегда.*

Макс уехал в тот же вечер. Хлеба в эту ночь не привозили, так что нам не нужно было стоять в очереди. Во главе с партией – нашим рулевым – мы держали курс в утешительные объятия Лолиты.

Задристанный Диван на крыльях истории

Этот был самый счастливый день моей жизни в Советском Союзе. День, когда мое сердце билось в унисон с сердцами двухсот двадцати миллионов человек. Когда сто пятьдесят национальностей, пятнадцать республик и одиннадцать часовых поясов в едином порыве плакали от радости и обнимали незнакомых прохожих на улице.

12 апреля 1961 года человек впервые совершил полет в космос. И человек этот был наш, советский – Юрий Гагарин. Дотянуться до звезд – заветная мечта человечества, она начала воплощаться в жизнь еще в 1957 году, с запуском спутника, и вот Гагарин уже почти мог потрогать их рукой!

Я училась в девятом классе не самой, правда, обычной ленинградской школы. Мама к тому времени перенесла тяжелейший инсульт, после которого ее парализовало. За ней нужно было ухаживать, так что я не могла, как все, ходить в школу шесть дней в неделю. Я относилась к так называемой «рабочей молодежи», которая училась обычно по вечерам, а днем работала. Но в школе рабочей молодежи был и дневной класс, который мне разрешили посещать три раза в неделю.

«Мне хорошо – я сирота!». Так начинает свой рассказ герой одной замечательной повести. Я, вторя ему, могла бы начать эту книгу со слов «мне хорошо – моя мама тяжело заболела». Паралич сделал ее узницей собственного тела, и это заключение оказалось пожизненным. Но меня ее болезнь, как бы ужасно это ни прозвучало, выпустила на волю. Избавила от необходимости быть активным членом советского общества. Все школьники и трудящиеся должны были деятельно участвовать в жизни коллектива, мирясь со всем сопутствующим этому контролем и идеологическим воспитанием, а я могла избежать обязательности, потому что ухаживала за тяжело больной матерью, и, значит, имела законное оправдание не ходить в обычную школу. Я больше не была охвачена политическим воспитанием. Именно тогда я сделала свои первые шаги в большой мир, во взрослую жизнь – и в этом не было ничего преступного, наоборот, государство само мне это разрешило. Я была свободна как ветер.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.